

секретная книжка

- (1) Все мечтают о просветлении; мало кто знает,
 что с ним делать и как жить потом дальше.

Реальность подлинного мира так неожиданна,
 что очень хочется всё вернуть назад.
Увы, отменить просветление невозможно.

И хотя мой опыт специфичен — я перенес просветление,
 будучи персонажем секретной книжки, однако
 у той книжки, в которой я был персонажем, и этой,
 много общего. Тутешние персонажи, как заводные,
 упражняются в искусстве рассказывать свои сны
 о подлинном мире. Все ваши сны, дорогие мои,
 неполны и неточны. Вам не приходит в голову мысль,
 что вы смотрите на одну вещь, но с разных сторон,
 что вы все — всегда — пишете одну книжку,
 но людей много, а секретная книжка только одна.

Многое из того, что я знаю о секретной книжке,
 и что я сейчас расскажу, способно лишить сна.

Потому что все мечтают о просветлении, но свет озаряет не то, что мы ждали увидеть: в обнаженной тьме зримо многое, что всякий бы предпочел не знать. А сам свет, когда смотришь на него изнутри, реален. Как жить без идеала? Если всё, что у тебя есть, столь заурядно, и всегда только начало пути, на котором нет ориентиров и самооправданий. Если больше нет времени и последовательности, кроме той, которую изобретаем мы сами.

У света нет ни времени, ни массы: он ничего не весит, он ничто в этом мире. Он реален только для тебя, и чем больше света, тем нереальнее ты для мира. О нем ничего не скажешь, разве что то, что я сказал. И поймут лишь те, кто пережил просветление, столь же беспомощные и обескураженные.

Но я научился с этим жить, и дополнительная цель моего повествования заключается в том, чтобы поделиться опытом: как перенести просветление, сохранив человеческий облик, веру, надежду, любовь; вернуться к повседневному существованию и в конечном счете остаться собой.

Впрочем, обо всем по порядку.

(2) Это случилось со мной, — вернее начало происходить, ибо процесс занял, по скромным подсчетам, сотни триллионов лет, — когда я уже был персонажем той книжки, в которой мы персонажи сейчас. Дело было года три назад.

Сорокет у меня был печальный, я никому не пожелаю. Мой первый друг умер, второй заболела. И, вроде бы, можно было помочь, но как. Очень много денег, лучшие клиники — такой случай, что не факт, да и где ж их взять, много денег. А первому другу я не помог, хотя мог бы. Слишком поздно понял, что к чему. Я купил бутылку коньяка, две пачки сигарет и поехал в Тарусу. Возможно, думал я, я совершил какие-то жуткие ошибки и сам того не заметил. Прошел мимо чего-то. Не увидел последствий случайных действий. Самое страшное — когда не можешь помочь или не помог, хотя мог бы. В такие дни хочется умереть от разрыва сердца, а оно не разрывается. Чувство бессмысленности и безысходности: как хотелось бы всё отменить, не родиться или исчезнуть бесследно.

Я пошел по берегу к даче Рихтера. Прекрасные берега,
прекрасная река: здесь прошла лучшая часть
моего детства. Но словно бы я их не видел.

Я поднялся на горку, свалил несколько сухих сосенок,
сложил огонь и, сев на бревно, прислонился к стволу.
Запрокинул лицо и смотрел в небо, пока не стемнело.

Ночь была безоблачна. Звезды, как миллионы лет назад,
без интереса смотрели на землю. Зачем всё это,
если жизнь так чудовищна. Зачем мы мучаемся,
теряя самое дорогое. Если радости столь хрупки,
а горе столь безмерно. Мучаемся и мучим других.
Костер догорел, я заснул.

- (3) Я проснулся от холода, но холод тоже был сном: мне снилось, что я персонаж секретной книжки, а мира больше нет: есть только секретная книжка.

Видимо, я некрепко спал, потому что я мог что-то помнить про мир — из той жизни, которую, если она и была, я как раз в этот момент терял. Мне не хотелось просыпаться из этого сна, но я проснулся опять. Однако я опять проснулся не там, причем на этот раз уже не помнил: ни про себя, ни про секретную книжку, ни про то, что я сплю: я был дрожью паутинки на ветру, которая не умеет помнить. Но тут я проснулся опять. На этот раз я был формой, у которой нет восприятия и сознания.

Я был гусеницей, это да. Морским ежом, и не раз: иногда одним морским ежом, иногда — разными морскими ежами одновременно. Прозябанием лозы. Ознобом мусорной урны в публичном парке утром по весне. Доводилось также бывать пасечником и ульем пчел. Однако сам я, лично, предпочитал быть шмелями — целым роем шмелей без пасечника. В сущности, у меня никогда не было выбора: я либо был шмелями,

либо не был. Но мне так больше нравилось: когда ты все шмели вместе и каждый отдельно, и жужжишь. Вдруг оказалось, что я всегда был кем-то другим, а всё то время, пока мне так не казалось, я спал. Реальность одного сна не отличалась от прочих: все они были нереальны и произвольны.

Всякий раз, когда я засыпал, если я успевал заснуть до пробуждения, я был собой, а когда просыпался — кем-то другим. Иногда, проснувшись, я ничего не помнил, кроме тех фальшивых (или наоборот — подлинно реальных, как знать) воспоминаний, которые должны были у меня быть в том сне. Иногда помнил всё.

Я был гусеницей, носорогом, каплей смолы; ветром и полночью; персонажем секретной книжки; я был собой и не собой; я был и не был; я был ничем и чем; я не был не я и я; и всё это было как дурной сон и как недурной; как сон и как не сон.

Всякий раз, когда я просыпался, я был кем-то другим. Но я не успевал запомнить того, кто проснулся, и сосчитать пробужденных.

Бывало, проснусь, а не понимаю: из которого сна?

(4) Чжуан Чжоу приснилось, что он бабочка,
которой приснилось, что она Чжуан Чжоу.

А у меня был триллион бабочек: каждой снилось,
что она я, Чжуан Чжоу и все прочие
бабочки и небабочки; и, когда они засыпали,
они тоже видели триллион бабочек и небабочек,
которым снилось, что они бабочки и небабочки,
Чжуан Чжоу и я; и не было предела этому и конца.

Бывало, проснусь, вспоминая былые сны.
И осторожно смотрю вокруг.

Похоже, думаю я, в этом сне я когда-то просыпался.
Кто я, где я, почему именно я.

Как я дошел до жизни такой, что просыпаюсь
бох весть где, бох весть кем, бох весть зачем.

Зачем персонажу знать, в какой книжке он персонаж,
что написано на титульном листе,
какая бабочка села на корешок.

Зачем такое просветление, которое невозможно понять,
которое больше любой попытки. Зачем, за что.

Одно меня теперь может спасти, подумал я как-то раз,
если я вспомню, что было на самом деле
до того, как я первый раз заснул.

Но в том сне, в котором я спал, не было времени,
а следовательно не было причин и следствий;
всё было запутано и переплетено — я тянул за нить,
ковёр рассыпáлся, и я опять оставался ни с чем.

И так я и блуждал по бесконечному сну вдоль и поперек;
я засыпал и просыпался, просыпался и засыпал;
и каждое пробуждение было похоже на сон.

(5) Нужно во что-то верить, думал я, когда мог помнить.
Но я постоянно просыпался бабочками и жуками,
у которых нет пророков. Каплей росы на лозе,
прозябанием урны в весеннем парке, числом π
и катетом и гипотенузой в абстрактном пространстве
мышления второгодника. Во что я мог верить,
находясь в этом состоянии и ничего не помня
о других? Когда я был числом π , я хотел измениться,
перестать быть собой, стать более рациональным, —
и я ничего не мог с собой сделать, зажатый в рамки
необходимости. Во что я мог верить, когда я помнил?
Я был всеми и никем: поскольку, будучи каждым что,
я был ничто, пустотой во втулке колеса.

Я перестал быть собой и увидел секретную книжку
отовсюду и изнутри. И всё, что не было мной,
увидело меня. С физической точки зрения мы стали
одной системой. Но “система” не мыслит. Это хаос
и набор произвольных точек. Это ужас бытия:
черновик секретной книжки, но не секретная книжка.

Когда я был роем шмелей, я ощущал себя каждым шмелем
одновременно. Я был? Меня не было. Затем — дрожью

осенней паутинки на ветру. Это было реальностью. Наверное, любимой — потому что я постоянно возвращался к этой форме, словно бы желая понять. Что, однако, не было моим осознанным выбором. Но что может понимать дрожь? Состояние предмета, у которого нет сознания? Тем не менее, это чувство по-прежнему дорого для меня. Это одно из самых любимых мной воспоминаний, оно основное.

И тогда я не выдержал и решил написать мемуары.

Потом я опять заснул, но странное дело — начало мемуаров запомнил.

Прошло неисчислимое множество триллионов лет — я считаю лишь те, когда я был вменяем, — прежде чем я смог мои мемуары закончить.

Давеча я перевел их с древнеисландского, и вы их сейчас читаете.

(6) В моих мемуарах был один сюжет: хаос и безумие. И никакого смысла, сколько я ни пытался найти. Пока меня не озарило — что все мои пробуждения ложатся в сюжетную канву секретной книжки. Будто все эти триллионы лет я читал мои мемуары, но без порядка: странички разлетелись, мое прошлое было видно мне по частям. Наверное штука в том, что, будучи персонажем секретной книжки, я также не был персонажем секретной книжки, но был также персонажем какой-то другой, и потому, относительно секретной книжки, находился вне времени.

Мой неторный путь к спасению пролегал через попытку выстроить гипотетический порядок мемуаров персонажа и всесущества. Многое пришлось оставить за скобками. Но для того чтобы изъяснить смысл моего просветления, мне придется вкратце изложить основную канву. Я предпочел бы этого не делать, но из песни слова не выкинешь. И хотя просветление валидно и релевантно только в отношении секретной книжки, в которой я был тогда персонажем, я бы не стал сотрясать воздух пустыми словесами, если бы не был убежден, что по-прежнему остаюсь им

— персонажем секретной книжки — абсолютной и конечной реальности, более того — что все, кого я знаю и не знаю, тоже являются ее персонажами, только на самом деле они совсем другие люди, а иногда животные. Как мне кажется, я нашел хороший способ конвертации. Поэтому я ее перевожу.

Пока я, правда, не очень понимаю, как относится к целому тот фрагмент, в котором я перевожу мои мемуары с древнеисландского. (В городе, где я жил, мемуары писали в основном на этом языке.) В данной книжке, несекретной, где я перевожу, персонажи часто видят сны о секретной. В подлинном мире этот фрагмент, насколько я в курсе, мало кому снился. Гамлет, в частности, ничего не рассказывал мне о Шекспире. Этот фрагмент, однако, напоминает отдельные главы повествования, у них много общего. Он безусловно бедней, мне многого в нем не хватает, но в целом я не вижу принципиальных отличий. Возможно, этот росток Мирового Древа пророс на забытой Богом несолнечной стороне. Он до сих пор скрыт листвой от взоров других персонажей. И нас ждет либо общее печальное будущее, либо отдельная, еще ненаписанная глава.

Я постараюсь не заснуть, пока не пойму.

(7) Тот, кто был шмелями, никогда не забудет о том,
жужжа и не жужжа, что реальность as is — это ничто.
Пустой лист бумаги, на котором мы пишем слова,
и реальны слова, а не пустота.

Но иногда, чтобы понять, что такое что, нужно понять,
что ничто; увидеть отражение — увидеть зеркало,
и не потеряться в нем, чтобы разглядеть отражение.

Две условности пересеклись, случилось настоящее.
Слова многое объясняют, правда имеет значение.

Пустая бумага больше не пуста, она теперь реальна.
Часть общей системы, в которой всё соотносено.

И всё, что на ней написано, останется навсегда,
пока есть те, кто любит и помнит.

Примерно так, насколько я могу об этом судить,
работает механизм света и секретной книжки.

- (8) Тому, кто не был роем шмелей, дрожью паутины и персонажем секретной книжки, сложно уразуметь, что секретная книжка — единственная и подлинная реальность.

Но между мыслимыми книжками так много сходства, что нельзя сказать, валидны ли различия.

Законы одной, однако, по большей части релевантны для другой. Можно воспринимать ее как карту реальности, но кто из нас отражение и метафора — как мне кажется, я знаю точный ответ, но я пока не скажу.

Работающая модель космоса является космосом.

Работающая модель мультиверса — мультиверсом.

Модель секретной книжки — секретной книжкой.

Все перспективы, в конечном счете, сходятся.

Вопрос только в степени участия персонажей в сюжетной линии, и, по большому счету, в их способности осознать участие.

(9)

АНДРЕЙ ЧЕВАКИНСКИЙ

**СЕКРЕТНАЯ КНИЖКА,
ИЛИ
ПОЧТИ ВСЯ ПРАВДА О ТОМ,
ЧТО ТВОРИТСЯ НА САМОМ ДЕЛЕ**

(Андрей Чевакинский — так меня на самом деле зовут.)

(1) Как-то раз проснулся, а земля безвидна и пуста,
над землей Дух Божий и вода, а сам я кислота.

Кислота и вся моя родня. Но кто кому родня и почему,
и какая кислота, ДНК ли РНК, — непостижимо,
ибо отсутствуют органы, способные к постижению.
Вот почему мои первые мутации и репликации
не оставили в моей памяти почти никакого следа.

Лишь смутное чувство существования, как сон о сне, —
где-то в глубинах, у самого дна.

Но если бы я заснул, а проснулся кем-то другим,
то даже бы не заметил этого.

Существование в чистом виде, без примеси чего-то еще,
оно у меня было, но как будто его не было.

Как же глубока простая мысль, что настоящая жизнь —
в способности чувствовать, помнить и понимать;
верить, надеяться и любить.

(2) Солнце всходило и заходило. Шли годы. Века.
Миллионы, десятки, сотни миллионов лет...
И потихоньку я умутировал в простого амёба.

Но мне хотелось бы еще сказать здесь несколько слов
о тех моих недалеких близких и родных, которые
стали водорослями, и так водорослями и остались.

Кто-то из них, зацепившись корнями, уполз на сушу —
шуршать стеблями, шелестеть листьями.
И именно из них произошел потом
древесный люд (лешие, энты и т. д.).

Но странное дело: мы провели вместе хренову тучу
миллионов лет, а я ничего не могу о них вспомнить.
Я не помню их лиц. Оттого, что у них не было лиц?
Или потому, что мне нечем их было запомнить?..

Тем не менее, я всегда сознавал наше родство,
и много позже, когда, будучи уже рыбой,
я был вынужден питаться ими,
испытывал крайне смешанные чувства...

(3) Ко времени, когда я был рыбой, относятся мои первые яркие воспоминания. Языка у нас, конечно, не было, но несложная система знаков позволяла выражать наши нехитрые чувства, а также считать до четырех. Один знакомый краб, впрочем, умел считать до пяти, а дядя Петя, который был сомом, до шести.

Как-то раз, высунув морду наверх, я увидел, что на ветке, прямо у берега, сидит очень красивая птица. Мне страстно захотелось показать ей, что у меня вызывают восхищение такие существа, как она: и стремительно выскочив из воды, я пошире развел плавниками и обдал ее фонтаном брызг из жабр. Птица сделала вид, что не поняла, и о чем-то задумалась.

Штука в том, что некоторые были птицами. Наши пути редко идут параллельно. Кроме того, некоторые ходят кругами или наоборот напрямик — как знать. Если она и была рыбой, то когда-то очень давно. Вряд ли бы она могла меня понять. Возможно, моя жизнь была для нее тьмой — чем-то холодным, мокрым и совершенно непригодным для жизни.

Так что не только мутация двигала мной, когда я впервые
попробовал выползти на сушу. Не желание жрать
и не стремление к репликации — я был тогда,
в сущности, весьма юн. Но любовь и тоска о той,
которая была так близка и так недостижима...

(4) Со стыдом, впрочем, вспоминаю я период отрочества, когда я был рептилией. Боже, как же омерзителен я был тогда!.. Куда страшней то, однако, чем я тогда занимался. Не меньше для меня печали, что существенная часть моей ЦНС, и вообще головного мозга, сформировалась в ту пору, что и по сей день подчас я веду себя как псевдозухия... Знаю — грех неизбежен. Блаженны те, кто согрешает только слегка, и чьи преступления не имеют последствий. Не всем, увы, дано.

Но стыд и раскаяние в том, что ты натворил, сознание, что ты совсем не это, что ты лучше, двинули мою эволюцию дальше. Потихоньку я стал нормальной зверушкой. Еще не приматом, но уже не крокодиллом. Чем-то вроде кошки или собаки — полукоалой, получебурашкой.

Я впервые поднял глаза к небу и начал задумываться о смысле жизни, о космосе, о моем месте в нем... Кто меня из мрака вызвал и, главное, зачем? вопрошал я небо ночи напролет, задрав мордочку

к звездам, рискуя стать добычей мимопролетающей или пробегающей рептилии. Много их сновало вокруг и — любопытный момент — мы были теперь не столько теми, кто ест, сколько теми, кого жрут.

Что способствует, безусловно, более созерцательному отношению к бытию. Чтобы спастись, я стремительно уползал на пальму.

(5) Однажды я сидел на пальме, а внизу жадно рыскали штук десять или пятнадцать крокодилов. Я подумал: а так ли мне хочется вниз? И примерно тогда стал приматом, и больше почти не менялся.

Поскольку мои приятели жили на кокосовой пальме, родственники — на банановой, а я на финиковой, картина мира обезьяньего народа утратила когерентность. Тем не менее, это не мешало нам понимать друг друга. Истина, известная всем живым существам кроме отдельных приматов-гоминидов: наши различия несущественны. Они объясняются естественными причинами, они важны — для развития, для эволюции. Мы всегда должны стремиться к диалогу, ибо пальмы и их плоды — условность и декорация, не более того.

Тем более что потом, в силу целого ряда обстоятельств, я был вынужден мигрировать с финиковой пальмы на кокосовую. Тогда же произошло важное событие, на котором мне хотелось бы остановиться особо.

Я сорвал с ветки кокос и задал простой вопрос: что дальше. Допустим, его можно съесть; но как?

Предположим, кокос можно расколоть; но чем?
Ничто на этой пальме не могло бы мне дать ответ.

И тут меня как будто озарило. Внезапно углядев внизу
челюсть дохлого крокодила, и ухватившись за хрящ,
я со всей дури долбанул клыком по скорлупе.

Кокос раскололся! И хотя челюсть разбилась тоже,
я понял принцип. Чтобы решить проблему,
нужно найти подходящую челюсть крокодила.

И, если она не существует, надо ее создать.

(6) Вскоре мои наития пригодились — к нам пришла свобода. Свобода от рутины, от естественного порядка бытия, от среды обитания: все наши пальмы погибли. Так мы стали гоминидами.

То, что было случайным, — инструменты, общение, — стало нашим последним способом выживания, спасения близких и себя.

Каждый божий день приходилось что-нибудь изобретать, мучительно искать варианты, когда нет вариантов. В сущности, теперь средой обитания была эта способность — позже ее назовут культурой; тогда же, по существу, началась Секретная Книжка. А еще в подкорке засела проклятая мысль — что где-то был рай, который мы утратили, что ничего не стоит вернуться назад... Что нужно только придумать новую рутину... И всегда тут как тут были те, кто это обещал: вожди.

Впрочем, это было уже во времена моей юности, когда племена наши расселились в берлогах по крутым тобским берегам.

(7) Вечерами мы обычно охотились на мамонтов;
по утрам же мы обгладывали их кости.

Я не склонен, впрочем, идеализировать каменный век, ибо мы ели не только мамонтов. Наша жизнь была борьбой за нативную племенную территорию — с австралопитеками, питекантропами, а после неандертальцами. Иногда мы ели еще друг друга. Мы были одним целым мы и ели одна часть другую, самих себя. Само собой, это было по необходимости, и конечно мы предпочитали есть другие племена.

Вожди говорили, что территория и племя превыше всего. Мы ведем борьбу за жизненное пространство. К тому же, все эти опушки — наши исконные земли, как доподлинно известно из фольклора: сказок и т. д. Соседнее племя — обезумевшие родственники — этого не понимает. Богоугодна борьба за правое дело, а кроме того приносит еду. Если не мы их, то они нас.

Во многом они, конечно, и сами были не правы, но, простой примитивный человек, я над их трупами не плясал никогда, ибо уже тогда понимал, что мы принадлежим миру, а не отдельной его части,

и потому нам самим, по большому счету,
ничего не принадлежит. Но поскольку то были
слишком сложные слова для моего первобытного
сознания, я не мог не испытывать чувства вины
за свое сострадание к побежденным:
я ощущал себя предателем друзей и родных...

Но ничего не мог с собою поделать. Ведь всякий раз,
когда соплеменники занимались каннибализмом,
они вызывали во мне отвращение. И вообще,
не прошло и сотни тысяч лет, и я больше не жрал
не только братьев-приматов, но также мамонтов,
слонов, ослов, бегемотов; и змей и ящериц;
и птиц, и рыб, и насекомых... Тяжко порой
приходилось веганцам в первобытную эпоху.
Но я понял, как я был прав, когда мой друг Лёха
научил меня понимать их язык.

Если бы я мог тогда найти хорошие слова, то сказал бы,
что чувство сопричастности к существу не оставляет
места для шовинизма не только племени,
но и расы, вида, культуры. Но лишь это чувство,
будучи осознанным, отличает настоящего гоминида
от остальной природы.

Само собой, в этом тоже есть какой-то шовинизм;
но мне он представляется более простительным.

(8) Хотя материальная культура была не на высоте, зато всё у нас было хорошо с духовной. Наши боги жили за оврагом, в овраге же водились черти. Знавал я тех и других; но что касается личного общения, то бухать я, как приучился, предпочитал с лешим Лёхой из соседнего леса, а водился преимущественно с девчонками-полудницами и с водяницами, а также с некоторыми русалками, которые из реки. Не все боги были безопасны; надо было знать подход.

Я не застал палеоботанику; но мой друг леший Лёха, который родом был из древесного люда, любил рассказывать лунными вечерами, при свете звезд, о забытых временах птеродактилей и тираннозавров.

Многие рептилии, по его словам, были так огромны, что могли притягивать жертв чисто своим весом. Чета тираннозавров за завтраком запросто могла уписать небольшое стадо гиппопотамов. Но нечто более крупное унесло их туда, где нет времени.

Те же из них, которые помельче, по мнению лешего, так и живут среди нас, но мы не всегда их видим.

Интеллектуальная культура тех сотен тысяч лет,
что пришлось на пору моего отрочества, оставалась,
в сущности, фольклором. Что было в порядке вещей,
потому что письменностью племена наши
не владели: мы писали рунами, понятное дело,
накладные и магические формулы, но всё это
было несерьезно, да и знали их немногие.

Письмо, я знаю теперь, есть не запись, но принцип мысли;
если у племени нет книг / свободы их читать-писать,
оно так и остается стадом приматов,
пусть и говорящих, пусть и достигших
высокой духовной культуры. В сущности для нас,
приматов, речь — лишь еще один инструмент
наподобие отщепы, рубила, скребла, точила...

Различие между приматами говорящими и мыслящими,
впрочем, сохраняется и на поздних стадиях развития,
как мы увидим ниже. Можно совсем утратить облик
человеческий — вообще перестать быть гоминидом,
но всё еще при этом что-то говорить.

И до этих мыслей дошел я сам, без помощи лешего,
ибо сыздетства любил задумываться.

(9) Вожди ведали войной и кормили человечинной чертей и богов; мы прогнали их и стали людьми. Штука в том, что когда у племени нет вождя, у него нет общего “мы”, лишь отдельные “я”, и каннибализм постепенно сходит на нет. Начался золотой век.

Гуманистическая революция совершилась незаметно: как-то постепенно распространилось понимание, что можно без вечной борьбы, что сотрудничество, терпимость, уважение приносят больше.

Мы съели питекантропов. Мы съели неандертальцев. Теперь мы едим друг друга.

А так ведь просто остановиться и стать, наконец, людьми.

Прогнать вождей. Научиться слышать друг друга.

Понять, что нет “племени”, есть люди.

По большому счету, “люди” начались в этот момент.

Люди отличаются особливостью от стадных существ; особости, пересекаясь с другими, рождают общее: религию, философию, науку, искусства.

К тому же, мне уже стукнуло семнадцать, на дворе
стоял полный феодализм, пришла пора
задуматься о выборе пути. Недолго думав,
я оседлал кота и поскакал в Санкт-Китежбург,
чтобы попробовать силы на поприще архитектуры.

- (1) Итак, я был тогда персонажем секретной книжки, в которой пересекались все повести и сюжеты: правдивые и неправдоподобные сказки, предания, памятные людям с детства, а также истории, которых услышать нельзя, из еще непридуманных легенд.

Следующая страница всегда, однако, оставалась чиста. Тем интересней было слушать Гомера по вечерам — его последние сводки с полей Троянской войны. Мы знали: пока Троя стоит, жива Евразия и Асгард. Уцелеет Средиземье — спасется Санкт-Китежбург.

Так бы мы и жили в своем маленьком и уютном мирке, не грезя о большом. Но вскоре нам довелось узнать, как работает теория хаоса: что каждая бабочка, в том числе воображаемая, имеет значение, и всё больше — катастрофическое.

Троя пала в конце 84-го, одновременно с Евразией. И история всех историй обрушилась на нас.

(2) Что же нам теперь делать? сокрушались лучшие умы.
Заклучить союз с хоббитами? Сообщить о бедствии
Галактическому Союзу? Возможно ответа не было,
возможно был, но мы его не нашли.

От ужаса те, кто были людьми, превращались в приматов.
Они всё еще говорили, но в основном ерунду,
и с ними нельзя было спорить.

Где приматы, там стадо, вожди, территория, враги, война.
Мне то было обидно вдвойне, ведь Санкт-Китежбург,
все знали, был высшей точкой развития этого мира
в плане культуры и понимания Смысла Жизни,
практических выводов из него...

Я был архитектор, я Смыслу Жизни памятники ставил;
а в Шире нас называли эльфами.

Однако я обладал и личными причинами
ненавидеть деволюцию и энтропию.

Штука в том, что у меня была не только любимая работа,
у меня еще был любимый кот и любимая жена.

(3) А здесь становилось тревожно.

“...Я буду медленно жрать предателей и врагов,
предателей и врагов, предателей и врагов...” —
неслось с утра до ночи из каждого утюга.

Но убивали не только предателей и врагов — всех подряд,
и без какой-либо логики: убийство ради убийства —
доказательство власти.

Каннибализм отвратителен, но китежбурцы кричали ура.

Теперь мы были не очень правильными приматами.

В Шире нас называли орками, в Вестеросе —
мертвяками. А это были всё те же мы —
эльфы Санкт-Китежбурга.

Деволуция, впрочем, не была линейной, и жители СКБ
нередко становились баранами, быками, козлами
и прочим копытным скотом; подчас носорогами;
в некоторых случаях — птицами; иногда насекомыми.

Можно было делать вид, что это в порядке вещей,
пока не начались перебои с поставками.

(4) Сначала они съели баранов и овец.

Мой сосед, Авдей Авдеевич, был бараном,
его жена, Авдотья Авдеевна, была овцой.
Я зашел к ним, чтобы попрощаться.

“Куда нам бежать, вздохнул Авдей Авдеевич.
Нас всё равно съедят на большой дороге...”

Я вернулся домой в расстроенных чувствах.

“Это понятно, сказал я И, что они уже не совсем люди.
Но ведь они всё еще что-то говорят и чувствуют,
и по ходу не так уж и сильно отличаются от нас!
Это попросту бесчеловечно — убивать их и есть!..”

“Тебе не кажется, что здесь становится очень страшно?”
спросила И.

Мы помолчали. Стёпа посмотрел на меня и на И.

“Хорошо, сказал я. Давай эмигрируем в Средиземье”.

(5) Мы вышли ночью, когда камеры отключены.

Поодаль тихо семенили, почти не цокая копытами, Авдей Авдеевич с Авдотьей Авдеевной и ягнятами.

Увы, Авдеевы утратили дар речи и только бляели теперь — о том, видимо, что дальше немогуту. На третий день, грустно попрощавшись с нами, они присоединились к стаду горных козлов, встреченному на пути, — бывших я думаю альпинистов, — и ушли в горы.

Надежда всё равно была: Остазия не контролировала районы, захваченные недавно, полностью — из Средиземья можно было сбежать в свободный мир.

И тогда мы увидели хоббитов — они вышли на дорогу с двух сторон. Первый слева, второй справа, метров через десять, третий слева — десять хоббитов.

“Слышь, братан, сказал я первому, как нам отсюда свалить в свободный мир?” — Хоббиты озадаченно, непринужденно, и синхронно, почесали зад.

Мы переглянулись. Слишком поздно, некуда бежать, все хоббиты подключены...

(6) Мы пропустили то время, когда ели людей;
впрочем, теперь мы и сами не были людьми,
что не избавляло от тревог, ибо нельзя было поспеть
за обществом, деволюционировать в ногу со всеми.
И с утра до ночи шла жуткая трансляция в мозг,
не позволявшая забыть ни на секунду.

Если ты еще не мидия
Если ты еще не креветка
Если ты еще не зоопланктон —
Тогда мы плывем к тебе
Чтобы тебя сожрать!

Пространство утратило очертания — сложно было сказать,
вода теперь вокруг или воздух. Видимо, когда мы
стали первобытным обществом, началась деволюция.
Время замедлилось, а это неминуемо сказалось
на пространстве. Это логично, однако, если смотреть
на процесс со стороны зоологии. Но как его понять,
если смотреть со стороны физики?

“Это ты во всем виноват, сказала И. Если бы ты устроился
рептилоидом, всё могло бы быть совсем по-другому”.

Я понимал, что она не права, но не было аргументов.
Особенно на фоне того, что творилось —
с обществом и с нами.

ЕСЛИ ТЫ ЕЩЕ НЕ АМЁБА
ЕСЛИ ТЫ ЕЩЕ НЕ ПЛЕСЕНЬ
ЕСЛИ ТЫ ЕЩЕ НЕ СЛИЗЬ —
ТОГДА МЫ ПОЛЗЕМ К ТЕБЕ
ЧТОБЫ ТЕБЯ СОЖРАТЬ!

Я теперь был, как встарь, простым амёбом, а ты была инфузорией-туфелькой. Стёпа же стал каким-то тоже простейшим, со жгутиками. Любопытно было то, однако, что мы продолжали говорить, думать, чувствовать, как если бы ничего не изменилось, как если бы мы были еще людьми.

Характерно, что многие наши соотечественники вообще не заметили перемен.

(7) Никогда не забуду день, когда наступила вечная ночь, если можно назвать его днем. В восемь утра амёбы, инфузории и прочие организмы ошарашенно хлопали окнами, толпились на улицах, пялились в небо: а на небе были звезды и луна, и они не двигались с места — ни в девять, ни в десять, ни в одиннадцать. Потом остановились и часы.

Но странное дело: теперь, когда времени больше не было, оно всё равно продолжало существовать, не вне — внутри: духовная жизнь, какова бы ни была у простейших, требовала последовательности. Хотя эти-то часы не совпадали: для кого проходил год, для кого минута. У одних время шло вспять, у других по кругу, у третьих вообще в сторону. Когда много организмов, время которых не совпадает, однако, собираются в одном месте, время становится пространственным — оно напрямую коррелирует с движением. У него одно направление — к центру черной дыры; хотя некоторые, как показал наш средиземский опыт, могут слегка отклоняться. В Барад-дуре, пока мы бродили по Ширу, прошла не одна тысяча лет.

По учебнику должно бы наоборот, однако имейте в виду,
что в центре ада времени нету, но духовные процессы
продолжают происходить. И что в той книжке,
в которой я был тогда персонажем, черные дыры
были совсем не то, что сейчас.

Ничего нельзя было сделать, однако, с притяжением,
и ничего нельзя было сделать с холодом.
Простейший со жгутиками замерзал,
но и я был хладен как труп.

Что я мог сделать? Ад — не то место, где можно помочь.

Потом прошли триллионы лет, я вспоминал те круги
и думал лишь об одном: что в наши последние часы
я не отдал свои последние килоджоули тем,
кого я любил больше всего.

А может быть в этом было мое единственное оправдание
и смысл моей жизни.

(8) Широкие площади черного города всасывали слизь,
которой мы все теперь стали, внутрь — к Кремлю.
Нам было страшно, холодно и противно.
Но мы могли лишь гнусно почмокивать,
бултыхаясь в черныдырской клоаке
всю безысходную вечность напролет.

Временами я переживал, однако, общность. Я думал:
это народ мой, он не может быть не прав. Мы — одно.
У нас одни враги, одни мудрые вожди.
В единстве наша сила, в силе наше единство.
Вожди не просто просасывают нас по канализации,
но к абсолютному счастью. У нас одно общее “я”.
Мы разделяем чувство правоты. И да, я счастлив.

Впрочем, здесь быстро заканчивалась любая вечность.
Потом мы упали в центр черной дыры.

Два квартала — и не было ни времени, ни пространства.
Физический облик терялся, остался только духовный.
И у всех нас, грешников, он был на одно лицо —
мы были теперь только души, которые видели
дурные сны, сменявшиеся беспричинно.

В этой среде можно было плавать и летать, однако ходить
получалось почему-то только на четвереньках.
Деволюция, видимо, была лишь следствием,
следствием жизни в среде.

Я спрятал И и Стёпу за пазуху и спустился в метро.
Я уже знал, где мы: там, где живут дурные сны.
В этом месте нет времени; а следовательно
дурные сны должны пересекаться, хотя каждый
будет видеть свое, исходя из своих предрассудков.
Ад у каждого свой, черная дыра одна — одна на всех.

Я даже не сказал, я прошептал:
Гомер, Вергилий, Данте, Элиот.

И откуда-то из тьмы голос ответил мне:
Ну зачем ты так кричишь.

(9) Мы понимали друг друга, говоря на языке поэзии.

И я сказал: Я понимаю ПОЧЕМУ, но я не понимаю — КАК.
Гомер, Вергилий, Данте промолчали; Элиот объяснил.

Слишком много дерьма.

Энтропия есть принцип времени,
Часовой механизм универса. Наполовину из хаоса,
Балансируя вечно грани, человек идет по дну,
Пока может, против всё сметающего потока.
Смысл невозможно найти, только создать.
Остановишься — и уносит отброс в кучу отбросов.

Грешники сами строят свой ад, ибо жизнь это чудо
И усилие. Свобода тяжка. Если не двигаешь время,
Время движет тебя. И так легко потерять
Человеческий облик, стать частью “мы”.
Бог с нами а не с вами козлы, коалы лучше
Чем чебурашки, папа убей чебурашку.

Мы лучше чем не мы, жрать лучше чем не жрать;
Зло — лишенность, и ничто превратится в хайло.
Слишком много дерьма, коллапс неизбежен.
Падая в черной дыры гомогенную массу
Тех, кто жрет, кого жрут, кто срёт и чем срут,
Грешные люди вопят: зачем мы построили ад.

Dung and death. And death. And death.

Нет, это неправильно! воскликнул я. Resist!

Давайте поднимем восстание грешников и свергнем
постылую и ненавистную власть демонов в аду!

Я сунул за пазуху Гомера, Вергилия, Данте и Элиота
и бросился к Кремлю.

В этот момент куранты термометра Адского Кремля
пробили минус двести семьдесят четыре раза.
Время нехотя пошло взад. В воздухе, жопой вперед,
летали адские демоны и рептилоиды —
властители Господом проклятого ада.

Бесчестные адские демоны, что вы сделали с людьми!
крикнул я и пнул ногой Кремль.

Кремль начал стремительно вращаться, всасывая в нутро
всё, что было вокруг, и поглощая. Волны гравитации
искажали то, что еще оставалось зримым, и башни
Барад-дурского Кремля, словно из гибкой резины,
изгибались в разные стороны. Земля тоже пошла
волнами, как беспокойное море. Всасываясь в стену,
грешники вопили страшным голосом, от которого
лопались камни. Но камни тоже летели туда,
теряя будущее, настоящее, следы прошлого,
исчезая в проклятом месте навеки.

В этот момент меня вывернуло наизнанку — я потерял всё,
что было у меня за пазухой, и самую память о себе.
Увидев вращающееся хайло ада как бы сверху,
я упал внутрь.

В центре мирового дерьма ничего не было,
только какая-то маленькая черная точка.

Я наклонился, чтобы посмотреть. Это был кругляшок,
который парил в воздухе. Вокруг скакали и жрали
друг друга, предаваясь внутривидовой, личинки
рептилоидов — очевидно, что они были
только голограммами спрессованного дерьма.
И была не права — я не мог стать рептилоидом.
Но я больше не мог ей об этом рассказать.

Маленький комок — всё, что осталось от мира,
то ли круг, то ли шар, но полый внутри,
похожий на кольцо. Оно было абсолютно черным,
но когда на него падал свет, исчезая навеки,
оно отливало золотом.

Я осторожно взял его на ладонь.

Кольцо как будто само скользнуло мне на палец.

knjka 2.3

© [open secret gpl](#) && [π](#)
[secretcode.gitlab.io](#)

image credit: [eso](#)